

Знахарка — текст 3 из 3

...На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под кожей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День — великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе — тихая музыка: гудят пчелы; во дни косьбы они трудятся как будто особенно упорно.

— Прохожий один сказывал, — сипит Мокеев, — дескать, человечье житье — благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик, тоже — благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен, — нехорошо, стало быть. У нас всё — по-своему...

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое воркованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего, благоуханно чистого, очень высокого неба. Все вокруг по-русски просто и чудесно.

— Князь-то, Голицыны-то, конечно — князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет — князи. Я и вначале внушал мужикам — бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их, мужиков. Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поравнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной, лыковой корзиной — в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

— Здравствуй-ко, болтун...

Ее грубое, мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся, я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

— Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход, — не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

— Зайди ко мне.

— Куда?

— Скажут. Через часок...

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С той гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха — знахарка, известная всему уезду:

— Ты только не считай, что ведьма, — нет, это у ней от бога! Ее и в Пензю возили, девицу лечить безногу, дак она безногу эту сразу — замуж! И пошла ведь девица, пошла, братец мой. «Дураки, — говорит родителям ейным, — детей, говорит, родите, а — для чё, не знаете». А родители — пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру — она всех лечит, ей все едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать. А она ему где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальчонко-то, ей за то — двадцать пять рублей да шерстяное платье — получи!

— У нас она — первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни-те по вершку оказались, и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она — все может. Она — бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя да как спросит, внезапно: «Ты чего думаешь?» Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий, старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха — дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу
, бунтарю, приятелем был...

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротою, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник. Три года она бездетно прожила с ним, а на четвертый, весной, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей, — леса Сергача славились обилием этого зверя, и до семидесятых годов XIX века мужики «сергачи» были лучшими дрессировщиками и «поводырями» медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя «по-мордовски»: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее, до плеча, сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку — короткую, вроде тятки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тяткой по лапам и, сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

— Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а тридцать который-то шею свернул ей несколько, — видал ты, как неладно она шеей владеет? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сороковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно, — сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки, и всякие, и рогатины, и ножики страшные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

— Почему — индей? Так уж родился, чин у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подвластны, вроде бы пленные наши, как татары али — чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индейцам, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ — важный, басовитый. Девочек индей этот перепортил у нас за зиму, весну штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином — народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его — Федор Карлыч. Ха-ароший барин...

Мокеев говорил, точно с горы ехал извилистой дорогой, и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось, час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

— А во-он-те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут...

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за верею, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки под глиняным рукомойником, сердито покрикивая:

— Выпряги! Выпряги, говорю...

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легка вкатила телегу во двор, сказав:

— Неслух. Дурак.

— Дак у тея — сила, — обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

— Мне — семой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидав меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

— Пожалуй-ко, в избу-то...

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы, на чисто вымытом полу катались пушистые котята, аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках, блестели бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста — некрасивое растение сырых мест, — корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

— Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Глядите — сердятся мужики. Сказал бы ты Голицыным-то, — чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто волю дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутся они, как мошки, вот и вся воля.

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно. Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые, белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха грызет сахар, чмокает, и ничто, кроме высоко вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выпрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой, ворчливый голос.

— Сильна была. Меня, в те поры, только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только — нельзя: муж. Шутя я его и борол, а всерьез — нельзя, не смела этого. Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы, и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые, седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

— Медведь-зверь — богу служит, Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, все из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек — богу. Кереметь сказал: «Бей медведя, покуда я терплю, побьешь много — солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет». Человек согласился: человеку скота жалко. Меды жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и, пригладив слюною взбитые волосы, уставила в лицо мне свой мутный, подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

— Вот тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься — ничего, и с девятью — ничего, а встанет на пути твоём четвертая, или там седьмая, и — конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить, как слепой. Это — судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу — детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему...

— Вы в церковь ходите? — спросил я. Она как будто удивилась, отвечая угрюмо:

— Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверьков к лицу, спросила:

— Ну, что?

И, налив молока в свое блюдо, тут же, на столе, сунула им блюдечко, — этого не сделала бы простая баба.

— Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

— Это вот умные звери, они никому не верят, — сказала Иваниха. — И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет...

Сильно за вечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики,плыли мимо окон косы, отражая красноватый заревой свет, в окна заглядывали бабы.

— Ну, надо мне сходить в улицу, — сказала Иваниха. — Ты почто остановился у Мокеева? Эта семья несчастливая. Ты вдругорядь у меня остановись. Я заезжих люблю.

И, провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

— Марь, ногу перевязала?

— Ой, матушка, неколи...

— Дура. Не тронь уж, я сама...

После ужина Мокеев, позвав меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

— Пятак брала али фунт баранок, она баранки любит с анисом. Сначала — смеялись над ней, после — привыкли. А она ругалась. «Дураки», — кричит. Это у нее первое дело, дураком ругать. «За лошадьми, кричит, следите, за коровами следите, скот — жалеете, а девок не жалеете?» Это она, пожалуй, верно кричала. Парни — медведи, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испортит, а после бьет — не сладка, не охоча...

Светила луна, в воздухе стоял густой, влажный запах свежескошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

— Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух какая. Прямо скажу...

Подумав, он сказал:

— Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал, — гонит и гонит. «Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого». Ему докладывают: «Да она хоть и баба, а страшнее лешего». Не верит. Дак она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, все, как надо. Тут он испугался: «Ну те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, говорит, надо тебя, черта!» Так она и осталась сторожихой, а после сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму, пьяного, волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край, — заключил старик, несколько неожиданно, а все же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей, ленивенькая речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды...

...Месяца через три, в праздничный день, мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью, только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

— Сидит на печи, в темном уголку, и поет днем, ночью: «Мамонька, бежим, родная, бежим!»

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

— Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще, — она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

— Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле...

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя, русская скука, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Керемети: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выпрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблюжьи ноздри ее съежились и темный нос стал острей.

— Я не поп, бога не знаю, — говорила она.

— А Кереметь — хороший бог?

— Бог — не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то...

Она долго отвечала так, сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее, и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

— Что ты стучишь, как бондарь, — бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее стал выше, а из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза — светлее, меньше. И все мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

— Ваш бог — веру любит, Кереметь — правду, — говорила она. — Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в дружбе — будет правда! Человечья душа — его душа, он ее черту не даст. Ваш бог, Христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь — человека хочет, он знает: бог с человеком — правда, а один бог — это неправда. Он — бережливый. Зверя, рыбу, пчелу — это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас — поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь — друг мой будешь. За деньги правду не сделаешь. Попы — деньги любят. Они Христа с Кереметью сравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш — на нас, наш — на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

— Мордва не люди стали, кому верить — не знают. И вы — не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить, оба они мешают, один — вам, другой — нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал...

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась все меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах.

Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И все чаще встречались в ее речи слова чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола, и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

— Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех — этому богу, этих — тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяева враждой не живут. Вы говорите: «Бог правду любит, да не скоро скажет» — зачем не скоро? Знаешь — сейчас скажи! Кереметь знает: правда лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали — замолчал. Обиделся, — живите без меня. Это плохо нам. Это черту — хорошо...

Ко мне пришли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжело вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

— Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губернатору не сказывай, пожалуйста...

Спать она легла на печи, а я — на полатах, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шепот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидел, что Иваниха, стоя на коленях, молится. Сверху она казалась бесформенной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень.

Ее необыкновенный, глухой голос странно булькал, казалось — это яростно кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникли странные сочетания слов.

— Ая-яй, Христос, ая-яй... стыдно, Христос... Илья сердится, ты сердишься, Кереметь тоже. Ты — сильный, за тобой идет много людей. Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой? А-я-яй, Христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы твои мучаются, мужики мучаются, зачем? Э-эх...

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темным пятнам икон, то прижимая к бедрам, или била ладонями по грудям. И все шептала, глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

— Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь — хуже тебя разве? Э-э, плохо, Христос! Бог бога гонит — чему учит людей? Ох, ты, Христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человеческий ты бог, нет! Трудно людям с тобой. Что делаешь? Иван — зачем помер молодой? Мишка, — одно дитя, такой светлый Мишка, — зачем? Корова Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж не пожалеешь, нет! Ой, плохо. Кому служишь, Христос? Каким людям служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам, и чуваше — мне все равно, видишь? А ты — кому? Поп твой говорит: ты — для всех, а ты и своих не любишь, нет. Стыдно тебе, ох, не так надо. Я правду говорю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди — хорошие люди, а как живут? Э, — Христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди — когда бога слушают. Ты слушай меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх ты, Христос...

Так она укоряла Христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос, кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горько и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зло взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека.

В пятидесятых годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы — мокши и ерзи, — населяющей Нижегородскую губернию.